

УДК 82.161.1
DOI 10.25991/AE.2022.22.39.003

Богданова О. В.

Богданова Ольга Владимировна — доктор филологических наук, профессор, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
Русская христианская гуманитарная академия
orcid.org/0000-0001-6007-7657
E-mail: olgabogdanova03@mail.ru

ЖАНРОВЫЕ ЧЕРТЫ ПЛАЧА В ГЛАВЕ «КРЕСТЬЯНКА» ПОЭМЫ Н. А. НЕКРАСОВА «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО»*

В статье рассматриваются фольклорные основы поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и в ходе анализа показано, что поэт-демократ напрямую ориентируется на народные плачи Ирины Федосовой, но использует их трансформированно, произвольно, тенденциозно. Автор работы приходит к заключению, что демократический пафос поэзии Некрасова во многом формируется в результате того, что Некрасов акцентирует исключительно плачевые мотивы русского фольклора, существенно преувеличивая их роль в русском народном творчестве.

Ключевые слова: Н. Некрасов, И. Федосова, русский фольклор, трансформация, трагико-демократический пафос.

Bogdanova O. V.

GENRE FEATURES OF CRYING IN THE CHAPTER “PEASANT WOMAN”
OF N. NEKRASOV’S POEM “TO WHOM IN RUSSIA TO LIVE WELL”

The article examines the folklore foundations of N. Nekrasov’s poem “To Whom in Russia to live well” and during the analysis it is shown that the poet-democrat is directly guided by the folk lamentations of Irinya Fedosova, but uses them transformed, arbitrarily, tendentious. The author of the work comes to the conclusion that the democratic pathos of Nekrasov’s poetry is largely formed as a result of the fact that Nekrasov focuses exclusively on the deplorable motives of Russian folklore, significantly exaggerating their role in Russian folk art.

Keywords: N. Nekrasov, I. Fedosova, Russian folklore, transformation, tragic-democratic pathos.

Даже самое поверхностное сопоставление текста поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорными источниками демонстрирует, насколько фундаментально поэт опирался на издания собранного в середине XIX века русского фольклора, в частности на собрания «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым» или «Причитания Северного края», собранные Е. В. Барсовым, на пословицы и поговорки, изданные В. И. Далем, на многообразные фольклорные материалы, собранные П. В. Киреевским, П. И. Якушкиным, П. Ф. Веретенниковым и др. Как показали исследования [3], именно «Песни...» П. Н. Рыбникова и «Причитания...» Е. В. Барсова составили для Некрасова тот мощный и незыблемый в этико-эстетическом плане фундамент, на который поэт опирался, создавая поэму и непосредственно (даже, можно сказать, — особенно) часть под названием «Крестьянка». По наблюдению К. И. Чуковского, названные сборники в период работы над «Крестьянкой» «были для Некрасова настольными книгами, и он черпал из них, как из богатейшей сокровищницы, не только десятки и сотни драгоценных народных речений, но порою *целые фабулы, целые сюжетные схемы*» [13, с. 205; выд. нами. — О. Б].

Обращает на себя внимание, что повествование о крестьянке Матрене Тимофеевне Корчагиной¹ открывается грустным (горестным) пейзажем. Некра-

сов не изменяет себе, вновь актуализируя горестную картину тяжелой народной жизни, и посредством приема природно-психологического параллелизма настраивает читателя на сочувственное отношение к изображаемым событиям, к выписываемым крестьянским судьбам.

Крестьяне-правдоискатели
Шли долго ли, коротко ли,
Шли близко ли, далеко ли,
Вот наконец и Клин.
Селенье незавидное:
Что ни изба — с подпоркою,
Как нищий с костьюлем:
А с крыш солома скормлена
Скоту. Стоят, как остовы,
Убогие дома [8, с. 121].

Однако сразу создается (характерная для некрасовского текста) парадоксальная ситуация: странников направили искать счастливого (счастливую) в селении под названием Клин (не Голодовка и не Пожарище)², но уже первый брошенный героями на село взгляд влечет за собой разочарование:

Эх, горе — не житье [8, с. 122].

В представлении много повидавших героев-путешественников, это горе — «Без берегу, без дна»

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-012-00272 «Н. А. Некрасов: pro et contra. Личность, деятельность, творческое наследие Некрасова в оценках отечественных мыслителей и исследователей».

[8, с. 125]. И хотя Некрасов в открывающем главу пейзаже намеренно создавал образ Клима — села убогого, нищенского, бедного, тем не менее (как видно по тексту поэмы) урожаи в селе богаты:

— У нас уж колос сыпется,
Рук не хватает, милые... [8, с. 129]

О богатстве хозяйства самой Матрены Тимофеевны будет сказано позднее:

Тут рига, конопляники,
Два стога здоровенные,
Богатый огород [8, с. 129].

Узкая «горемычная» тенденция Некрасова-поэта изначально сталкивается с рассказом широко и многопланово воспринимающей крестьянскую жизнь И. А. Федосовой и других сказительниц, видящих жизнь крестьянина бытийно *разной*.

В качестве главной героини «Крестьянки» Некрасов избирает тип яркой сильной женщины:

Матрена Тимофеевна
Осанистая женщина,
Широкая и плотная,
Лет тридцати осьми [8, с. 126].

Как известно, Некрасов колебался в выборе возраста героини: в черновиках ей было 60, позже 50, в окончательном тексте — 38 лет. В сравнении с «прототипом» героя, кажется, омоложена, однако, когда Е. В. Барсов вел запись, И. А. Федосовой было сорок пять лет (род. 1827). То есть для поэта было вполне логично героиню рассказа, «бабу в силе», здоровую и крепкую, в ее же воспоминаниях «омолодить» на несколько лет³.

Об Ирине Федосовой Е. В. Барсов сообщал, что она не была красива: «женщина <...> крайне невзрачная, небольшого роста, сѣдая и хромая, но съ богатыми силами души и въ высшей степени поэтическимъ настроеніемъ» [2, с. 314]. Логика обобщения диктовала Некрасову необходимость изменить внешность героини, наделить ее (в сравнении с прототипом) красотой и статью, чтобы актуализировать и подчеркнуть контраст между располагающим к себе обликом женского персонажа и теми тяготами-нуждами, что легли на плечи героини.

Красива; волос с проседью,
Глаза большие, строгие,
Ресницы богатейшие,
Сурина и смугла [8, с. 126–127].

Черты сильной красивой молодой женщины, труженицы-работницы, эксплицированы уже в первых деталях ее портрета:

На ней рубаха белая,
Да сарафан коротенький,
Да серп через плечо [8, с. 127].

Живой поэтический рассказ Матрены о себе практически эпизод за эпизодом совпадает с дета-

лями реальной биографии сказительницы И. А. Федосовой и/или дополняется сюжетами героини ее (преимущественно ее) плачей. Глава первая («До замужества») открывается традиционным фольклорным зачином, известным по сказаниям, быличкам, плачам, причитаниям, — и по законам жанра это рассказ о житье-бытье в родительском доме.

В «Комментариях» к Полному собранию сочинений Некрасова приводится суждение: «Так, первая глава (“До замужества”) представляет собой своеобразную мозаику свадебных причитаний и отдельных моментов биографии И. А. Федосовой» [8, с. 652]. Однако если быть точными, то речь должна идти прежде всего об автобиографии И. А. Федосовой и в значительной мере о федосовском «Плаче жены по мужу», который открывает сборник Е. В. Барсова и который только в отдельных моментах включает в себя (в т. ч. и) элементы свадебных причитаний⁴.

Начиная рассказ о себе едва ли не с самого детства, героиня Матрена (вслед за сказительницей) сообщает о своем счастливом житье в родной семье:

— Мне счастье в девках выпало:
У нас была хорошая,
Непьющая семья.
За батюшкой, за матушкой,
Как у Христа за пазухой,
Жила я, молодцы [8, с. 130].

И далее идет традиционный трехчастный распев о побудках:

Отец, поднявшись до свету,
Будил дочурку ласкою,
А брат веселой песенкой;
Покамест одевается
Поет: «Вставай, сестра!...»
<...>
Идет родная матушка,
Не будит — пуше кутает:
«Спи, милая, касатушка;
Спи, силу запасай!» [8, с. 130]⁵

В традиции фольклора и согласно своей поэтической (тенденциозной) задаче Некрасов изначально формирует контраст: родная семья ↔ чужая семья, словно бы подготавливая читателя к последующим драматическим перипетиям⁶.

В словах матери Матрены проектируется искомый контраст:

«В чужой семье — недолог сон!
Уложат спать позднехонько,
Придут будить до солнышка,
Лукошко припасут,
На донце бросят корочку:
Сложи ее — да полное
Лукошко набери!...» [8, с. 130]⁷

Некрасов уверенно опирается на фольклор — в частности при описании счастья девичества воспроизводит впечатления героини И. А. Федосовой в «Плаче жены по мужу»:

Какъ жила я у желанныхъ родителей
Во своемъ да я прекрасномъ дѣвчествѣ,
Изнавѣшена была я цвѣтнымъ платицомъ,
Изнасажена была я скатнымъ жемчугомъ <...>
[2, с. 8].

Некрасов умело и технично прославляет эпизоды из биографии самой Федосовой жизненными обстоятельствами героини ее плача: если автобиография Федосовой дает поэту факты и позволяет выстроить логику жизнеподобного сюжета, то «Плач...» насыщает эпизоды житейской глубиной, поэтической образностью, психологическим опытом⁸. Поэт отталкивается от упоминания сказительницы о том, что с шести лет отец приучал ее к работе, учил пасти лошадей, ухаживать за ними: «б-ти-годъ на ухонжъ лошадь гоняла и съ ухажа домой пригоняла» [2, с. 315]. И у Некрасова лаконичный факт разворачивается в сцену, дополняется и поэтизируется:

В день Симеона батюшка
Сажал меня на бурушку
И вывел из младенчества
По пятому годку,
А на седьмом за бурушкой
Сама я в стадо бегала,
Отцу носила завтракать,
Утятчек пасла [8, с. 131].

В фольклорных поэтических нарративах одним из ключевых моментов рассказа девушки (женщины) о себе должен и, как правило, оказывается эпизод сватовства — сговор невесты и свадьба.

В автобиографии о себе сказительница сообщает, что она не торопилась замуж — «...того не думала и въ умѣ не держала, чтобы замужъ идти...» [2, с. 316]. И добавляла: «...имя мнѣ было со изотчиной; грубнаго слова не слыхала: бѣдный сказать не смѣлъ, богатаго сама обожгу...» [2, с. 315].

У Некрасова героиня рассказывает о своих девических помыслах более развернуто и полно:

На парней я не вешалась,
Наянов обрывала я,
А тихому шепну:
«Я личиком разгарчива,
А матушка догадлива,
Не тронь! уйди!» — уйдет... [8, с. 131]

Между тем как в рассказе плакальщицы, так и в жизни героини Некрасова наступает момент сговора-сватовства.

У Федосовой, точнее у ее героини из «Плача», читаем: «Послѣ многіе позывали, да сама не хотѣла — будь хоть позолоченой, не пойду» [2, с. 316].

Матрена Некрасова сохраняет поведенческий импульс Федосовой: дает жениху отпор, используя тот же императив — «не пойду»:

Всю ночь я продумала...⁹
«Оставь, — я парню молвила, —
Я в подневолье с волюшки,
Бог видит, не пойду!» [8, с. 133]

Отдельные текстовые совпадения у Федосовой и у Некрасова буквальны. Исследователи (в т. ч. комментаторы Полного собрания сочинений) уже обращали внимание на родство суждений Федосовой (и/или ее героини) и Матрены. На похвалы женихов об умении девиц ладно работать обе отвечали:

— у И. А. Федосовой:

«Еще бы, говорю; не въ лисяхъ родилась, не пнямъ Богу молилась» [2, с. 318];

— у Некрасова:

Да не в лесу родилась,
Не пеньям я молилась [8, с. 130].

Обе невесты задаются вопросом:

Ах! что ты, парень, в девице
Нашел во мне хорошего? [8, с. 132]¹⁰

На что оба жениха «похваляют» невесту, напоминают о дальнем пути, ими преодоленном, и оба обещают не обижать будущую жену.

Из рассказа Федосовой:

«Женихъ сель подлѣ меня и говоритъ: идешь ли замуж? — Не знаю, — итти-тъ ли. — Иди, говоритъ, не обижу» [2, с. 318]. И здесь же: «Нѣтъ ужъ, какъ хошь, надо итти, мы такую даль ѣхали» [2, с. 318].

У Некрасова:

— Такую даль мы ехали!
Иди! — сказал Филиппушка. —
Не стану обижать! [8, с. 133]

Уговоры женихов в рассказе Федосовой и в тексте Некрасова сменяются условием невесты принять ее таковой, какая она есть. В случае со сговором Федосовой последняя просила допускать ее в чужие дома причитать на свадьбах, крестинах, похоронах и др. Некрасов обобщает условия сговора:

Ты стань-ка, добрый молодец,
Против меня прямехонько,
Стань на одной доске!
Гляди мне в очи ясные,
Гляди в лицо румяное,
Подумывай, смекай:
Чтоб жить со мной — не каяться,
А мне с тобой не плакаться...
Я вся тут такова! [8, с. 133]¹¹

В итоге (в обоих случаях) согласие между женихом и невестой достигнуто.

Своему первому замужеству Федосова подводит итог:

«13 лѣтъ жила я за нимъ и хорошо было жить; онъ меня любилъ да и я его уважала; моего слова не измѣнилъ, была воля итти, куды хочешь...» [2, с. 320].

В поэме Некрасова слова согласия переданы жениху:

— Небось не буду каяться,
Небось не будешь плакаться! —
Филиппушка сказал [8, с. 133].

Финальные слова сказительницы о том, что по размышлении избранник «паль на сердце...» [2, с. 316] полностью коррелируют с чувствами Матрены-невесты, в ее речи повторяются буквально: «Пал на сердце Филипп!» [8, с. 550].

В последующих главах «Крестьянки» — «Демушка», «Волчица», «Трудный год» и др. — показательны для сопоставления картины житейской Ирины и Матрены в чужой (мужней) семье.

В автобиографии Федосова рассказывает о большой семье мужа и вспоминает о том, что она много работала. «Я зна<ла> шить и кроить и коровушек доить и порядню водить» [2, с. 319]; «Я ж была <...> куды какая: колотила, молотила, веяла и убирала» [2, с. 319] — «все крестьянство у ихъ вѣла» [2, с. 321].

У мужа Матрены:

— Семья была большущая,
Сварливая... попала я
С девичьей холи в ад!
В работу муж отправился,
Молчать, терпеть советовал:
Не плюй на раскаленное
Железо — зашипит!
Осталась я с золовками,
Со свекром, со свекровушкой,
Любить-голубить некому,
А есть кому журить [8, с. 137].

Сбываются пророчества матери Матрены:

Сноха в дому последняя,
Последняя раба! [8, с. 154]

Поешь — когда останется
<...>
Уснешь — когда больна... [8, с. 164]
<...>
Ночь — слезами обливаюся,
День — как травка пристилаюся... [8, с. 170]

Примечателен эпизод, когда Ирина и Матрена рассказывают о горьких обидах в семье мужа и в этой связи вспоминают об умерших родителях:

Громко я звала родителя:
Ты приди, заступник батюшка!
Посмотри на дочь любимую...
Понапрасну я звала.
<...>
Громко кликала я матушку.
Отзывались ветры буйные,
Откликались горы дальние,
А родная не пришла!.. [8, с. 170]

Заключительный эпизод обеих «обидных» мотивов-фрагментов вновь демонстрирует буквально совпадение.

Из рассказа Федосовой: «...обижали меня всячески <...> а я все плакала да тосковала...» [2, с. 321].

И заканчивает сказительница словами: «<...> весной скотину пасти отпускали и я сойду, бывало, сяду въ лисѣ; на дерѣвинку или на камышокъ и начну плакать» [2, с. 321], «на катучемъ да сижу я синемъ камышкѣ» [2, с. 321]¹².

Таково же поведение и героини Некрасова.

Я пошла на речку быстрюю,
Избрала я место тихое
У ракитова куста.
Села я на серый камушек,
Подперла рукой головушку,
Зарыдала, сирота! [8, с. 170]

Тяготы жизни жен-молодушек в семье мужа отражаются и в других «парных» эпизодах. Из федосовского «Плача вдовы по мужу»:

Оны искоса вѣдь вси тутъ запоглядывають,
Со всей лихостью оны да разговоръ держать:
Не устали твои бѣлыя тамъ рученьки;
Не работушку сегодня работала е,
За кудрявой деревиночкой стояла все,
На красное на солнышко поглядывала [2, с. 41].

У Некрасова:

Собрала ужин; матушку
Зову, золовок, деверя,
Сама стою голодная
У двери, как раба.
Свекровь кричит: «Лукавая!
В постель скорей торопись!»
А деверь говорит:
«Немного ты работала!
Весь день за деревиночкой
Стояла: дожидалась,
Как солнышко зайдет!» [8, с. 174]

Не только образный ряд, но и выразительные (диалектные) слова — в т. ч. выразительная словоформа «деревинушки» — переходят непосредственно от Федосовой к Некрасову.

Из федосовского плача в текст некрасовской поэмы перетекают и мотивы горького вдовьего существования — в главе «Крестьянка» это житейское бытие одинокой солдатки, рекрутчина Филиппушки (глава «Трудный год»).

Некрасов поэтически точно воспроизводит состояние героини, которое почувствовала и передала в плаче Федосова: противоположение прежней былой гордости положения мужней жены и нынешнего состояния покорности и униженности одинокой матери-солдатки.

Теперь, как виноватая,
Стою перед соседями:
Простите! я была
Спесива, непоклончива,
Не чаяла я, глупая,
Остаться сиротой...
Простите, люди добрые,
Учите уму-разуму,

Как жить самой? Как деточек
Поить, кормить, растить?.. [8, с. 173]

У Федосовой подобный пассаж еще более выразителен:

Когда прежь сего, до этой поры времечка,
Была въ живности любимая семеюшка,
Маломощному сусѣду не корилася,
Была гордая вѣдь я да не поклонная,
Я съ сусѣдами была да не сговорная;
Не нечаяла я горя, не надеялась,
<...>
Што останусь, сирота вдова безсчастливая,
<...>
Со малыма, сердечныма дѣтушкамъ [2, с. 7].

Наука незавидного нового положения героинями плача и поэмы усвоена:

Надо жить бѣдной горющицѣ умюци,
По уличкѣ ходить надо тихошенько,
Буйну голову носить надо низешенько,
Набѣ сердечушко держать мнѣ-ка покорное
[2, с. 21].

Сплетни соседок приумножают горе-кручину
обоих лирических героинь.

У Федосовой в «Плаче...»:

Стала хорошо ходить да одѣваться,
Стала до бѣла она да намываться;
Ужъ какъ рѣчь стала у ей не постатейная,
Разговорушки у ей да нехорошіи [2, с. 23]

У Некрасова:

Получше нарядилась я,
Пошла я в церковь божию,
Смех слышу за собой!
Хорошо не одевайся,
Добела не умывайся,
У соседок очи зорки,
Востры языки!
Ходи улицей потише,
Носи голову пониже,
Коли весело — не смейся,
Не поплачь с тоски! [8, с. 174]

Некрасов точно следует фабуле женской судьбы, предложенной в автобиографии И. А. Федосовой, и соответственно сюжетике народного плача, поэтому сопоставлению могут быть подвергнуты многочисленные эпизоды плача и поэмы, среди которых и эпизод с голодными детьми, оставшимися без отца-кормильца.

В исполнении Федосовой картинка-эскиз выглядит так:

Во избы-то сироты да хлопотливыи,
За столомъ-то будутъ дѣтушки ѣдучи
Станутъ по избы вѣдь дядюшки похаживать
И не весело на дѣтушекъ поглядывать,
Оны грубо-то на ихъ да поговаривать:
«Охъ ужъ вольныи вы дѣти самовольныи»

Станутъ дѣтушекъ побѣднушекъ подергивать,
Въ буйну голову сиротъ да поколачивать [2, с. 18].

У Некрасова крестьянка Матрена о судьбе голодных детей говорит так:

<...> Голодные
Стоят сиротки-деточки
Передо мной... Неласково
Глядит на них семья,
Они в дому шумливыи,
На улице драчливыи,
Обжоры за столом...
И стали их пощипывать,
В головку поколачивать...
Молчи, солдатка-мать! [8, с. 173]

Другое дело, что в «Плаче...» дети остаются в доме брата умершего мужа («дядюшки»), и потому племянники — лишние рты. В поэме Некрасова голодные «сироты» — дети сына, незаконно взятого в рекрутство. Жизнь малых внуков в доме родных деда и бабушки, кажется, должна была несколько смягчить картину Некрасова, однако, по всей видимости, поэт был впечатлен (и сознательно аккумулировал) тяжелое положение матери-солдатки и ее голодающих детей, потому сюжет «сиротства» без коррекции был перенесен в текст поэмы, помещен в то же проблемное поле.

Подобного рода переключек-заимствований в поэме Некрасова так много, что умножение их числа не сделает аргументацию в вопросе ориентации «народного» поэта на «Плачи» И. А. Федосовой («перепевы» ее причитаний) более взвешенной и доказательной. Легко установить, что кроме «Плача жены по мужу» заимствования осуществлялись Некрасовым из самых разных федосовских плачей — «Плач дочери по отцу», «Плач дочери по матери», «Плач по сыну», «Плач по родному брату», «Плач по старосте», «Плач о писаре», «Плач о попе отце духовном», «Плач об убитом громом-молнией» и др., и, как уже отмечалось выше, зависимость ощущается на всех уровнях: это сюжетные ситуации, характеры, мотивы, образы, детали, речевые обороты и выражения, даже отдельные словоформы и их фонетическое воспроизведение (см. комментарии В. Е. Барсова).

На этом фоне отдельного упоминания в части «Крестьянка» заслуживает глава «Савелий, богатырь святорусский».

Исследователями давно (на уровне предположения) установлено, что основой главы о Савелии послужил очерк М. Л. Михайлова «Зеленые глазки» (1867). В «Комментарии» к Полному собранию сочинений значится, что импульсом для разработки сюжетной ситуации о расправе с немцем Фогелем «возможно» «был для Некрасова сибирский очерк М. Л. Михайлова “Зеленые глазки” (Дело, 1867, № 12, рубрика “Из прошлого”, подпись: Л. Шелгунова), в котором рассказывается, как семь крепостных женщин в порыве гнева закопали живым в землю ненавистного барского управителя, циника и насильника (указано Г. А. Типикиным). Сближать некрасов-

ский текст с очерком Михайлова позволяет ряд деталей последнего: женщины по приказу управителя копают ров вокруг его сада (у Некрасова — Фогель “велел колодец рыть”); обороняясь от домогательств управителя, одна из женщин толкнула его в вырытую яму (у Некрасова — мужики стали подталкивать Фогеля к яме в ответ на его придирки); в очерке Мавра бросает гневные слова: “Засыпем его землей!”, и все, точно “этого слова и ждали”, схватились за лопаты и стали кидать землю, пока не сровняли яму с землей (у Некрасова — под слово “Наддай!” мужики так “наддали”, “Что ямы словно не было — Сровнялася с землей!”)» [8, с. 660].

Действительно, при сопоставлении текстов легко обнаружить родственные мотивные ряды и близкие по смыслу ситуации, поэтому следует говорить не о возможности намеченной связи, а о ее несомненности. Некрасов не мог не знать текст «Зеленых глазок», так как начиная с 1852 года М. Л. Михайлов жил в Петербурге и как публицист и переводчик сотрудничал в некрасовском «Современнике», позже в «Отечественных записках».

В центр повествования «Зеленых глазок» М. Л. Михайлов поставил женский образ — образ теперь немолодой няньки, прежде крепостной крестьянки, которая по просьбе автора (подпись под текстом «Л. Шелгунова») рассказывает свою историю: «У одного горнаго офицера видѣла я няньку, выходившую троихъ его дѣтей, *женщину лѣтъ сорока, высокую, бодрую, еще красивую...*» [7; выд. нами. — О. Б.].

На фоне главы «Крестьянка» уже в этой фразе примечательны два обстоятельства: портрет героини, перекликающийся с образом Матрены Тимофеевны, и характер забот персонажа Михайлова — после каторги и долгой службы в господском доме его героиня стала нянькой (именно нянькой и окажется бывший каторжник Савелий в трагическом эпизоде с Дёмушкой).

Близость портретной характеристики героини Михайлова и Матрены Некрасова могла бы подтолкнуть последнего к тому, чтобы Матрену поставить на место героинь (главной героини) «Зеленых глазок». Однако такой нарративный поворот сильно «нагрузил» бы фабульную линию Матрены Корчагиной, но отказаться от нее совсем Некрасов не смог и переадресовал сюжетные перипетии женской судьбы очерка Михайлова мужскому персонажу Савелию, в его «боковом» (действительно «побочном») подсюжете сохраняя и убийство приказчика, и каторгу и кандалы, и впоследствии исполнение героем обязанностей няньки.

Любопытно, что Некрасов «наследует» не только фактическую сторону рассказа Михайлова, но и его пафос. Уже в первом абзаце очерка «Зеленые глазки» автор предлагает нетрадиционный корреляционный ракурс соотношения понятий «преступник» и «герой»:

Обыкновенно думаютъ, что нѣтъ ничего страшнѣе преступника, побывавшаго въ острогѣ, на каторгѣ,

извѣдавшаго всевозможныя лишеныя и часто самыя горькія обиды. Не мудрено, конечно, ожесточиться такому человѣку; чего только не приходится ему вытерпѣть — и голодь, и холодь и самое грубое обращеніе, какое только можно встрѣтить въ нашей грязной тюремѣ, между людьми, потерянными для себя и для общества, у которыхъ нѣтъ другой защиты, кромѣ унижительныхъ слезъ и еще болѣе унижительныхъ просьбъ. И дѣйствительно, есть преступники — люди падшіе въ полномъ значеніи этого слова; но мнѣ доводилось нерѣдко видѣть между ними и такихъ, которымъ можетъ позавидовать каждый изъ насъ, неиспытавшій ни острога, ни кандаловъ, ни каторги [7].

Гордость за «такого» острожника звучит в словах очеркиста и настраивает на «такое» восприятие острожной темы — на оправдание преступления и восхищение действиями преступника. Некрасов наследует пафотический настрой очерка Михайлова и проецирует его на образ Савелия, «преступника и богатыря».

Центральная героиня Михайлова начинает свой сказ и сообщает:

Насъ прислали сюда семерыхъ женщинъ по одному дѣлу. Трехъ бабъ, да четырехъ дѣвокъ. Всѣ мы были барскія, и всѣ крестьянки, а не изъ дворни. Я была не замужемъ тоже. <...> Поставленъ былъ надъ нами управляющій не то жидъ, не то русскій, но только не приведи Господи видѣть такого человѣка. <...> Чуть что не такъ, — онъ и за нагайку. Сколько бѣгало народу. <...> И работы такія выдумываль, что хоть вѣкъ ломай голову, и не придумашь, зачѣмъ это приказываютъ дѣлать...»

Героиня вспоминает, что в тот роковой срок управляющий подрядил семь девок рыть канаву вокруг господского сада. По словам одной из героинь, Мавруши Спиридоновой, управляющий «затѣмъ это выдумалъ, чтобы <к ним> сюда отъ барыни ходить, играть <с девками>», «ластиться» [7].

К симпатиям деревенских девушек управляющий не располагал, но имел власть, и потому, как сообщает рассказчица, выкопанная по приказу ненавистного управляющего канава ассоциировалась у них с могилой: «...выкопали яму, точно могила. Сами же смѣмся: могила да и только». И действительно, яма стала могилой для управляющего: когда тот приставал к Мавре, то получил отпор, упал без движения на землю, и девушка, по рассказу няньки, глядя не него, произнесла: «?...живъ — бѣда намъ будетъ, и не живъ — бѣда. Все одно, засыпемъ его землей», говорить». И далее примечательное: «Точно мы этого слова и ждали. Не успѣла она это сказать, мы за лопаты, — давай кидать землю, точъ въ точъ какъ могилу зарывають» [7].

Матрица эпизода расправы с управляющим у Михайлова в точности воспроизводится в эпизоде из рассказа Савелия о том, как он

в землю немца Фогеля

<...>

Живого закопал... [8, с. 143]

Субъектные контексты героев пересекаются. Однако в тенденции создаваемой Некрасовым поэмы «любовная» мотивация трагедии в очерке М. Л. Михайлова отвергается и нивелируется (для Некрасова она легковесна), на передний план выходят интенции социальные.

Застроил немец фабрику,
Велел колодец рыть.
Вдвядтером копали мы,
До полдня проработали,
Позавтракать хотим.
Приходит немец: «Только-то?..»
И начал нас по-своему,
Не торопясь, пилить.
Стояли мы голодные,
А немец нас поругивал,
Да в яму землю мокрую
Пошвыривал ногой.
Была уж яма добрая...
Случилось, я легонечко
Толкнул его плечом,
Потом другой толкнул его,
И третий... Мы посгрудились...
До ямы два шага...
Мы слова не промолвили,
Друг другу не глядели мы
В глаза... а всей гурьбой
Христьяна Христианьча
Поталкивали бережно
Всё к яме... всё на край...
И немец в яму бухнулся,
Кричит: «Веревку! лестницу!»
Мы девятью лопатами
Ответили ему.
«Наддай!» — я слово выронил, —
Под слово люди русские
Работают дружной.
«Наддай! наддай!» Так наддали,
Что ямы словно не было —
Сровнялася с землей! [8, с. 150–151]

Как видно, ключевые моменты обоих текстов в точности совпадают. Но место семи баб у Михайлова занимают девять мужиков Некрасова¹³ и безымянный управляющий-«еврей» превращается в управляющего-«немца» Фогеля.

Гендерная трансформация, предпринятая в поэме, идейно обусловлена: поступок героинь у Михайлова — необдуманное спонтанное движение неразумных молодых девиц, у Некрасова — закономерная и неизбежная расплата, которая должна настичь жестокого управляющего. Отсюда (оставшийся в черновиках) призыв Савелия к борьбе за социальную справедливость.

Претекстовая диффузия, обнаруживающая себя в главе «Савелий, богатырь святорусский», объясняют ошибку, допущенную Некрасовым в именовании героев. В «Комментариях» к строке 695 «Поехал

ночью Тихоныч...» дается пояснение: «Свекор, т. е. отец мужа Матрены Тимофеевны, ошибочно назван Тихонычем, хотя из текста главы ясно, что он — сын Савелия, богатыря святорусского, следовательно — Савельич» [8, с. 658]. Ошибка потому и возникла, что первоисточниками для создания образа свекра были разные претексты: не «Плачи» И. А. Федосовой, как преимущественная часть «Крестьянки», но очерк М. Л. Михайлова «Зеленые глазки». История старика Савелия носила «вставной» характер.

Наряду с обстоятельством, отмеченными выше, «Зеленые глазки» М. Л. Михайлова, стали пратекстом и для еще одного минисюжета части «Крестьянка». Мотив ухаживаний за Матреной «господского управляющего» Абрама Гордеича Ситникова [8, с. 141] очень напоминает мотив преследования управляющим Мавруши Спиридоновой в очерке Михайлова. Но, видимо, чтобы не перегружать фабулу жизненных событий Матрены, не завершать мотив преследований управляющего ситуацией кандалов и острога, Некрасов делокализовал мотивную нить и позволил клиновскому ухажеру «холерой умереть» [8, с. 152]. Тем самым его Матрена освобождалась для новых житейских драм и трагедий (выписанных в главах «Дёмушка», «Трудный год», «Волчица» и др.).

В связи с каждой из названных выше глав «Крестьянки» можно с уверенностью утверждать, что текстуральная интеракция обретает в них сквозной характер: все они «перепеть» в ориентации на чужие источники. Так, о главке «Дёмушка» в «Комментариях» сообщается: «Эпизод со смертью Дёмушки подсказан Некрасову фактами реальной жизни, когда дети становились жертвами безнадзорности. В печати тех лет постоянно мелькали сообщения о крестьянских детях, съеденных свиньями» [8, с. 661]. В «Дёмушке» опорой для Некрасова оказались газетные сообщения, печатные факты [1, с. 254]. Однако, как показывает опыт, газетный факт, как правило, лаконичен, компрессивен, не развернут в сюжетный рассказ, (потому) он и не породил у Некрасова большой стихотворной картины¹⁴ — объект проекции оказался свернутым, а поэт передал психологическое состояние (страдание) матери, по-прежнему напрямую связанное с «Плачами похоронными, надгробными и могильными» И. А. Федосовой, собранными в первом томе издания Е. В. Барсова.

Едва ли не буквалистское следование Некрасова некоему «претексту» («претекстам») серьезно ослабляет эмоциональное впечатление от его художественных творений (в т. ч. и от замечательных стихов, как ясно, нередко порожденных чужими впечатлениями), однако возникает еще более существенный вопрос: насколько точно в работе над поэмой и в частности над частью «Крестьянка» Некрасов следовал народному духу фольклорных песен и плачей, на которые опирался, в какой мере его поэтические «вариации» отражают философию и психологию русского народа, его духовный опыт и нравственный потенциал?

Для ответа на поставленный вопрос необходимо вновь вернуться к ранее рассмотренным подглавкам и обратить внимание не на претекстовую основу, но на характер ее транспозиции и переакцентуации.

Уже в «Прологе» возникает некое обстоятельство, которое «случайным» образом выявляет (обнаруживает) истинное отношение Некрасова к героям повествования. Так, условившись с Матреной Тимофеевной о страдной помощи, его крестьяне-путешественники располагаются на обед (ужин):

Покуда Тимофеевна
С хозяйством управлялася,
Крестьяне место знатное
Избрали за избой:
Тут рига, конопляники,
Два стога здоровенные,
Богатый огород [8, с. 129].

Станным на фоне бедности всего села Клин (картина, которой открывается «Пролог») выглядит богатое хозяйство Матрены, однако, если оставить эту парадоксальную «несостыковку» в стороне, далее обращает на себя внимание еще более примечательный пассаж. Крестьяне-странники, как у них водится, обращаются к скатерти-самобранке с просьбой накормить их:

И скатерть развернулася,
Откуда ни взялися
Две дюжие руки,
Ведро вина поставили,
Горой наклали хлебушка
И спрятались опять...
Гогочут братья Губины:
Такую редьку схапали
На огороде — страсть! [8, с. 129]

Некрасов сообщает о богатом застолье, предложенном скатертью-самобранкой, но тут же без комментария мимоходом упоминает о редьке, которую «схапали» (т. е. украли) братья Губины на огороде Корчагиной. Зачем Губины воруют? Не от голода — от «озорства». Но «шутка» незваных гостей не просто глупа, но неэтична и безнравственна — они только что наблюдали царящую в селе бедность, но тут же «озоруют», крадут чужую редьку у той, о тяжелой судьбе которой приготовились слушать искренний рассказ.

С одной стороны, Некрасов изображает беспричинное и бессмысленное воровство Губиных (скатерть-самобранка могла дать все, что ни попросили бы герои-странники, — запрет птахи наложен только на водку: не более ведра в день). Вряд ли найдется такой фольклорный текст (если только его тональный модус не ироничен, не сатиричен), в котором герой спокойно и мимоходом совершил бы воровство (пусть и мелкое), а повествователь-сказитель (или сопутствующий персонаж) не дал бы этому хотя бы объяснения, не говоря уже о нравственной оценке (имплицитной или эксплицит-

рованной). Как известно, доминантой фольклорных текстов признается моральная установка, этические критерии, сформированные народом и закрепленные в устном поэтическом творчестве. На этом — народном — фоне образ героев-правдоискателей Некрасова оказывается дискредитированным, сниженным, доверие к искомой ими «правде» ставится под сомнение.

С другой стороны, за беспричинным воровством, которое изображает Некрасов, (тоже мимоходом) проступает и собственно авторское отношение к мужику. Некрасов незаметно для себя проговаривает то, что «на уме»: русский мужик обязательно что-то да украдет, у своего или у чужого, у хорошего или у плохого, нужное или ненужное — все, что «плохо лежит». Ироничный оттенок сообщения о воровстве братьев Губиных как будто бы избавляет автора от необходимости отнестись к произошедшему всерьез, но, как свидетельствует текст, поведение героев принимается автором как привычное, обыденное, неисправимое, почти национальное.

Иными словами — там, где Некрасов следует за народной сказительницей, он как поэт выдерживает уровень традиционных нравственных ориентиров, но как только допускает отступление от первоисточника (ни в одном из плачей И. А. Федосовой сопоставимого эпизода нет), тотчас обнаруживает этико-эстетический сбой.

Сходным образом в плаче Матрены по погибшему первенцу Некрасов заменяет только одно слово, один эпитет в плаче сказительницы, и результат оказывается противоположным.

Героиня Матрена причитает:

Падите мои слезоньки
Не на землю, не на воду,
Не на господень храм!
Падите прямо на сердце
Злодею моему!
Ты дай же, Боже Господи!
Чтоб тлен пришел на платье,
Безумье на головушку
Злодея моего!
Жену ему неумную
Пошли, детей — юродивых!
Прими, услыши, господи,
Молитвы, слезы матери,
Злодея накажи!.. [8, с. 156]

К матрениному плачу Некрасов дает сноско-пояснение: «Взято почти буквально из народного причитанья» [8, с. 156]. Ключевое слово — *почти*.

Если сопоставить приведенный фрагмент с эпизодом из «Плача о писаре» И. А. Федосовой, то разница будет очевидной.

Вы падите-тко горяци мои слезушки,
Вы не на воду падите-тко, но на землю,
Не на Божью вы церковь, на стросеньице,
Вы падите-тко горяци мои слезушки

Вы на этого злодія супостатаго,
 Да вы прямо ко ретливому сердечушку!
 Да ты дай же Боже Господи,
 Штобы тлѣнь пришошь на цвѣтно его платьице,
 Какъ безумице во буйну бы головушку!
 Еще дай да Боже Господи
 Ему въ домъ жену не умную,
 Плодить дѣтей неразумныхъ!
 Слыши Господи молитвы мои грѣшныя!
 Прими Господи ты слезы дѣтей малыхъ! [2,
 с. 288]

Некрасов заменил буквально одно слово: вместо «детей *неразумных*» (как у Федосовой) его героиня молит о «детях *юродивых*».

Некрасов допускает, что боль скорбящей матери оправдывает «чужое» слово в речи Матрены. Однако в подлинно народном восприятии таковая подмена невозможна. С одной стороны, потому что пожелать кому-либо «отроду сумасшедшего ребенка», «дурачка» [5, с. 669] (по сути — больного ребенка) — небожеское дело, подобная речь предосудительна и безнравственна, недопустима в устах православного (= нравственного) человека (а Матрена — верующий человек¹⁵). С другой стороны, по В. И. Далю, «народ считает юродивых Божьими людьми, находя нередко в бессознательных поступках их глубокий смысл, даже предчувствие или предведение», они «божевольные дурачки», потому в религиозном смысле желать «детей юродивых» значит одарить семью Божьим благоволением. И с той, и с другой стороны эпитет «юродивый» чужероден плачу героини, невозможен в народном причитании и даже в плаче, только претендующем на близость народному духу¹⁶.

Обращает на себя внимание, что Савелий, богатырь святогурский, герой, который долго терпит и не теряет веры в необходимость установления законности и обретения правды, неожиданно произносит достаточно пространственный монолог с призывом отказаться от дела, оставить крестьянские заботы и осознать беспочвенность упований на будущее.

Матрена рассказывает о странностях Савелия:

То добрый был, сговорчивый,
 То злился, привередничал,
 Пугал нас: — Не паши,
 Не сей, крестьянин! Сгорбившись
 За пряжей, за полотнами,
 Крестьянка не сиди!
 Как вы ни бейтесь, глупые,
 Что на роду написано,
 Того не миновать! [8, с. 165]

И та неизбежная судьба, которую (пред)видит Савелий для мужчин-крестьян и женщин-работниц, это:

Мужчинам три дороженьки:
 Кабак, острог да каторга,
 А бабам на Руси

Три петли: шелку белого,
 Вторая — шелку красного,
 А третья — шелку черного,
 Любую выбирай!..
 В любую полезай... [8, с. 165]

Следует заметить, что подобный призыв в речах «клеяменого, но не раба» Савелия, персонажа, исполненного витальных сил, порождает сомнение и ставит под вопрос цельность образа старца-богатыря. Очевидно, что подлинно народный персонаж, герой богатырского духа, не мог бы провозглашать призыв к безделью, к отрыву от земли, т. к. для крестьянина *пахать* и *сеять* — первое и главное дело в жизни.

На призыв к «"вольготному" безделью» обращал внимание и В. А. Кошелев и назвал его «извращенным» и «искореженным», объясняя это тем, что у Савелия нет «какого бы то ни было идеала» [6, с. 20, 45] (по мнению исследователя, в противовес Грише Добросклонову). Однако, на наш взгляд, дело в ином. Некрасову, демократически настроенному поэту, точнее — подстраивающемуся к популярным революционным идеям времени, необходимо было хотя бы какой-то персонаж поэмы наделять «смелыми» речами с социальным подтекстом. Довести до торжествующего финала призывы Савелия Некрасову помешала, скорее всего, осторожность (цензура), а не «отсутствие идеала», тем не менее поэт попытался наделять образ стойкого старца признаками бунтарства и (как следствие) *маргинальности*: Савелий у Некрасова фактически переставал быть героем-крестьянином, но становился традиционным героем-каторжником, героем-маргиналом, типичным персонажем литературы демократического крыла середины 1860-х годов.

В некрасоведении уже обсуждался вопрос о том, что образ Савелия порождает переключки с сюжетом о богатыре Святогоре, в частности о Святогоре и тяге земной [см. об этом: 4, с. 92–96; 6, с. 130–131]. Однако Некрасовым богатырство русского народа понимается «искаженно» (используя эпитет В. А. Кошелева), не по-былинному, то есть не по-народному. Подобно тому, как в первой части Яким Нагой геройство возводил в умение русского крестьянина много пить, так Савелий богатырство русского народа трактует как умение терпеть социальную несправедливость, как долготерпение.

«Как вы терпели, дедушка?»
 — А потому терпели мы,
 Что мы — богатыри.
 В том богатырство русское.
 Ты думаешь, Матренушка,
 Мужик — не богатырь?
 И жизнь его не ратная,
 И смерть ему не писана
 В бою — а богатырь!
 Цепями руки кручены,
 Железом ноги кованы,
 Спина... леса дремучие
 Прошли по ней — сломались.

А грудь? Илья-пророк
По ней гремит-катается
На колеснице огненной...
Всё терпит богатырь! [8, с. 149]

Иронического модуса, шуточных интонаций в речи Савелия не ощущается, т. е. можно предположить, что Некрасов вкладывал некий угадываемый смысл (подтекст) в понимание богатырского долготерпения русского народа и «от обратного» выводил из него мысль о долго зреющей, но пробуждающейся и аккумулятивной готовности русского народа подняться против угнетения и притеснения¹⁷. Однако толкования концепта «терпение-богатирство» Некрасов не дает.

При создании образа Савелия Некрасов явно пытался сохранить некую «тайну» в характере персонажа, некую двойственность, каким-то образом «усложнить» личность героя (и собственную авторскую позицию). Так, исследователи не раз обращали внимание на то, что немцу Фогелю, заживо погребенному под землей, поэт дает имя Христиан Христианович (в черновом варианте Кристиан Кристианович). Акцентированное имя немца Фогеля своей дублетностью — Христиан Христианович — притягивает к себе внимание, и ситуация убийства управляющего обретает двойственный (двусмысленный) характер. С одной стороны, автор как будто бы восхищается решимостью и решительностью Савелия, богатыря святорусского, борца с несправедливостью, не «раба», но, с другой стороны, в кульминационный момент жизненной линии персонажа посредством имени злодея-немца автор вводит в повествование библейский (*христианский*) мотив «Не убий», ставя под сомнение расправу, учиненную Савелием (и др.). Можно предположить (как это нередко бывало с Некрасовым), что в период работы над главой о Савелии поэт выслушал чье-либо суждение по поводу безбожных действий героев и попытался усложнить призму восприятия, диалектически дополнить точку зрения на убийство Фогеля, внести «скрытую» неоднозначность в аксиологию поступка, т. е. придать ситуации философско-онтологическое наполнение. Однако нарушением смысловой однозначности Некрасов только подрывал цельность характера: введенная в текст «диалектика» (= диссонанс) никак не проявила себя в последующем повествовании, христианская сторона события осталась вне непосредственного опыта героев и, следовательно, должна быть квалифицирована как случайная (недоразвитая, остаточная).

Исследователь В. А. Кошелев иначе трактует намечившееся «противоречие» в имени Фогеля и соответственно в образе Савелия: «...Некрасов этим неожиданным звуковым и смысловым созвучием демонстрирует особенную глубину и силу возникшего здесь именно социального конфликта, который оказывается глубже возможного конфликта религиозного...» [6, с. 25; выд. нами. — О. Б.]. Исследователь прав, делая акцент на социальном конфликте, тенденциозно близком Некрасову-автору. Но если это

так (а это именно так), то и тогда поэту не было нужды совмещать несовместимое, в данном случае — социально-тенденциозное и религиозно-нравственное. Имя-коррелят Христиан Христианович вступало в противоречие с цельностью выписываемого образа богатыря-правдоискателя, идея справедливости социального возмездия от подобной «диалектики» только размывалась.

Ранее уже шла речь о том, как Некрасов не только легко ассимилирует претекстовый материал, но и свободно меняет «плюс» на «минус», с готовностью смещает аксиологические акценты и управляет (трансформирует) ситуации, образы, характеры. В частности, при разборе главы «Поп» было установлено, что образ попа «по-Белинскому» в ходе работы над текстом был скорректирован образом попа «по-Добролюбову», когда представления о герое, первоначально формируемые под влиянием знаменитого письма Белинского к Гоголю, при участии Николая Добролюбова, демократа из поповичей, активно сотрудничавшего в «Современнике», были серьезно переакцентированы. Сатиризованный образ попа, осмеянного Белинским, под воздействием сына священника Добролюбова начинал обретать иную акцентологию; характер героя-попа наполнялся жизнеподобными составляющими, активизировался их реалистический потенциал.

Однако в части «Крестьянка» Некрасов-демократ вновь возвращается к социальной тенденции — однобокому и односоставному образу священнослужителя (Н. А. Добролюбов к этому времени уже ушел из жизни). Некрасовский поп вновь выписывается духовно слабым, бесконечно жалующимся на приходскую паству:

Поп плакался <...>:
— У нас народ — всё голь да пьянь,
За свадебку, за исповедь
Должают по годам.
Несут гроши последние
В кабак! А благочинному
Одни грехи тащат! [8, с. 158, выд. нами. — О. Б.]

Лексема «плакался» окрашивает смысловой и стилиевой пласты эпизода, воспроизводит характер и оттеняет форму жалоб священнослужителя, а определение «голь да пьянь» выдает истинное отношение служителя церкви к прихожанам (и, возможно, интенцию автора). Образ попа, скорректированный ранее Добролюбовым, знавшим реальные тяготы жизни служителей церкви и их самоотверженность в служении пастве, возвратился к тому антиклерикальному абрису, который был исходно близок атеисту Некрасову. В итоге в главе «Демушка» аксиологическим индикатором образа попа снова оказываются интонации базарно-шутовские, балаганно-площадные, односторонние (глубоко некрасовские, субъективные). Рудименты влияния Белинского дали о себе знать десятилетие спустя. Между тем, как свидетельствуют плачи И. А. Федосовой, народ высоко ценил заботу и помощь,

даруемые церковью, почитал духовных отцов-наставников (см. «Плач о попе отце духовном»: [2, с. 293–298]). И хотя главу «Крестьянка» исследователи и критики нередко называют «самой фольклорной» (В. А. Кошелев), но «пересоздание» народного источника вряд ли достигло в ней того уровня совершенства — подлинности и чистоты, которыми были пронизаны сказания народной плакальщицы, послужившие поэту образцом для подражания¹⁸.

Итак, можно заключить, что в главе «Крестьянка» Некрасов по-прежнему эксплуатировал привычно традиционный для него прием — «перепев», в данном случае — калькирование фольклора, что и порождает впечатление о «Кому на Руси жить хорошо» как о «великой поэме», о поэме народной. Проницательно угаданная Некрасовым актуальность в ориентации на фольклор, на богатый народный претекст (пратекст) обеспечивала поэту неисчерпаемый материал для создания «эпоса крестьянской жизни». Другое дело, что не только нарративный ракурс, структурная матрица, композиционные формы и сюжетика, но едва ли не каждая строка, не каждое слово в некрасовской поэме обнаруживают легко эксплицируемый источник, «чужой текст», ставя под сомнение собственно *процесс творчества*. Более того, внимание к характеру адаптации Некрасовым «чужого» текста порождает устойчивое ощущение несовпадения голосов «чужого» и «своего», намерения сказать необходимое и своевременное, но далекое от того, что составляло суть субъективного художественного мировидения. Стратегия имитации, способность талантливо петь на «чужие голоса» или с «чужого голоса», оставляет вопрос аксиологии поэмы Некрасова (в том числе и части «Крестьянка») открытым, рецептивная дилемма *pro et contra* сохраняет свою релевантность.

В этом смысле, на наш взгляд, близка к истине оценка творчества Некрасова Л. Н. Толстым, сотрудничавшим в «Современнике» и хорошо знавшим поэта и характер его творчества: «По-моему, его <Некрасова> место в литературе будет место <N>. То же фальшивое простонародничанье и та же счастливая карьера — потрафил по вкусу времени — и то же невыработанное и не могущее быть выработанным — настоящее присутствие золота, — хотя и в малой пропорции и в неподлежащей очищению смеси» [11, с. 379].

Однако где-то рядом могут оказаться и слова другого современника, близко знавшего поэта. Из письма И. С. Тургенева Я. П. Полонскому из Парижа от 11 (23) января 1878 года по поводу смерти Некрасова: «Ты знаешь мое мнение о Некрасове, и потому говорить о нем не стану. Пускай молодежь носит с ним. Оно даже полезно, так как в конце концов те струны, которые его поэзия <...> заставляет звенеть, — струны хорошие» [12, с. 488].

Примечания

1. «Варианты показывают, что поэт долго искал это имя: в черновиках встречаются и “Оринушка” (5, 410), и “Марьюшка” (5, 411), и “Настасья Тимофеевна” (5, 407). Появившееся в конце концов имя *Матрёна* (от латинского *matrona*, “мать семейства, почтенная, уважаемая”) оказывалось более соответственным замыслу Некрасова и созданному им образу держательницы крестьянского дома» [6, с. 24].

2. Обратим внимание, что в главе «Крестьянка» Некрасов забывает названия деревень, из которых были его мужики-странники и две из них называет иначе:

Мы мужики степенные,
Из временнообязанных,
Подтянутой губернии,
Пустопорожней волости,
Из смежных деревень:
Несьтова, Неелова,
Заплатова, Дырявина,
Горелок, Голодухина —
Неурожайка тож [8, с. 127].

3. Вопрос о возрасте героини исследователи порой возводят до уровня философского. Так, В. А. Кошелев считает, что «противоречия» в возрасте героини (38 лет, но «старуха») «отнодь не случайны»: «Они открывают своеобразную народную “философию возраста” и углубляют комплекс собственно крестьянских представлений о “круге жизни” человека. В структуре некрасовского повествования <...> — это показатель особенного отношения Некрасова к “вечной” проблеме человеческого возраста...» [6, с. 37].

4. Понятно, что в таких обстоятельствах первоначальный план главы «Губернаторша» (вероятно, подсказанный другим источником) отходит на задний план, уступая место жизненно яркой истории И. А. Федосовой.

5. Ср. в сборнике П. Н. Рыбникова: «Пора вставать да пробуждаться...» [9, ч. IV, с. 110] или «По деревням печи топятся...» [9, т. IV, с. 119]; и др.

6. См. у Федосовой: «...чужая сторона не медомъ налита, не сахаром посыпана» [2, с. 322].

7. Как отмечено в «Комментариях», строки навеяны фрагментом из сборника П. Н. Рыбникова «Приходила желанная родитель-матушка» [9, т. IV, с. 111]. Ср.: «Как чужа дальна ознобна сторонушка...» [9, ч. IV, с. 108]; «Чтобы буйны вѣтры нѣ обвѣяли» [9, т. IV, с. 114].

8. Тому же служат и яркие сцены-эпизоды, очерпнутые из «Песен, собранных П. Н. Рыбниковым» [9].

9. Ср. у И. А. Федосовой: «Легла спать; не спится, а думается, въ дѣвухахъ сидѣть, али замужъ итти» [2, с. 317].

10. Ср. фрагменты у П. Н. Рыбникова: «Ты скажи-ка, чужой чужбининь!» [9, ч. III, с. 374–375] и «Скажи, гдѣ я прилюбилася...» [9, ч. IV, с. 145].

11. Ср. фрагмент у П. Н. Рыбникова: «Становиська, млад отецкий сын...» [9, ч. III, с. 374].

12. Близкую по сюжету и настроению картину В. Васнецова «Аленушка» прежде не связывали с текстами И. А. Федосовой или Некрасова. Однако можно предположить, что выступления известной сказительницы в Петербурге и в Москве в 1870-х годах могли быть памятны Васнецову и повлиять на характер созданной художником в 1880-м году картины.

13. Не семь мужиков, что могло бы вызвать у читателей ассоциацию с семью странниками: 7 → 9.

14. Общеизвестно, что и к роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» толчком послужили факты из газет об убийствах (в т. ч. «студентами») в Петербурге. Однако писательская (творческая) стратегия Достоевского носила совершенно иной характер.

15. См. эпизод согласия героини с Божьей волей забрать младенца Демущку (моление над гробом младенца).

16. Ср. точку зрения Н. Н. Скатова, который считает, что эпитетом «юродивый» Некрасов усиливает «энергию и силу сиюминутно рождающихся скорби и гнева», «мотива, которого нет в народном плаче» [10, с. 140].

17. В. А. Кошелев (как и ряд других исследователей) предлагает иное (весьма традиционное в современном некрасоведении) понимание богатирства героя Савелия: «Броское, шероховатое на слух название Корёжина рождает важнейший для Некрасова образ русского богатыря, изначально искорененного, изодранного, изломанного жизнью, но остающегося богатырем именно потому, что он за всю свою страшную жизнь так и не вкусил участи раба (“Клейменный, да не раб!”), не покорился до конца ни помещику Шалашникову, ни немцу Фогелю, ни всем “наверху” явленным властям» [6, с. 20].

18. Принцип подражательности аргіогі снижает этико-эстетический уровень поэмы. Неслучайно К. И. Чуковский о «подражании» Некрасова «Запискам кн. М. Н. Волконской» писал: «В мировой

поэзии, кажется, еще не было случая, чтобы такие переделки удавались. Мудрено ли, что подлинная проза мемуаров оказалась поэтичнее поэмы?» [14, с. 57–58]. Такого рода суждение может быть обращено и к главе «Крестьянка».

Литература

1. *Базанов В. Г.* От фольклора к народной книге. Л.: Худож. лит-ра, 1973. 360 с.
2. *Барсов Е. В.* Причитанья Северного края собранный Е. В. Барсовым / изданы при содействии О-ва любителей российской словесности. М.: [б. и.], 1872.
3. *Богданова О. В.* О поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. 195 с.
4. *Груздев А. И.* Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». М.; Л.: Худож. лит-ра, ЛО, 1966. 119 с.
5. *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Русский язык, 1999.
6. *Кошелев В. А.* «Кому на Руси жить хорошо»: о великой поэме и о вечной проблеме. Вел. Новгород: НГУ, 1999. 169 с.
7. *Михайлов М. Л.* Зеленые глазки. URL: http://az.lib.ru/m/mihajlow_m_l/text_1867_12_zelenye_glazki_olderfo.shtml
8. *Некрасов Н. А.* Полное собрание сочинений и писем: в 15 т. / ИРЛИ СССР, Пушкинский Дом. Л., СПб.: Наука, 1981–2000. Т. 5. Кому на Руси жить хорошо. Л.: Наука, ЛО, 1982. 688 с.
9. Песни, собранные П. Н. Рыбниковым: ч. 1 / сост. П. Н. Рыбников; изд., авт. предисл. П. Безсонов, Д. Хомяков. М.: Тип. А. Семена, 1861. 524 с.; ч. 2 / сост. П. Н. Рыбников; изд., авт. предисл. П. Безсонов, Д. Хомяков. М.: Тип. А. Семена, 1862. 734 с.; ч. 3 / сост. П. Н. Рыбников. Петрозаводск: Изд. Олонецкого губернского статистического комитета, 1864. 460, LXXI с.; ч. 4 / сост. П. Н. Рыбников. М.: Изд. Д. Е. Кожанчикова, 1867. 398 с.
10. *Скатов Н. Н.* «Я лиру посвятил народу своему...»: о творчестве Н. А. Некрасова. М.: Просвещение, 1985. 195 с.
11. *Толстой Л. Н.* 385. Н. Н. Страху, 27 января 1878 г., Ясная Поляна // Толстой Л. Н. Полное собр. соч.: в 90 т. М.: Худож. лит-ра, 1928–1958. Т. 62. Письма. 1873–1879. М., 1953. С. 379.
12. *Тургенев И. С.* Полное собр. соч. и писем: в 30 т. / гл. ред. М. П. Алексеев [и др.]. М.: Наука, 1978–2018. Т. 10. М., 1982. С. 488.
13. *Чуковский К. И.* Мастерство Некрасова. Изд. 5-е. М.: Худож. лит-ра, 1971. 711 с.
14. *Чуковский К. И.* Некрасов как художник. Пг.: Эпоха, 1922. 77 с.